

Отгремели оvationи, и он поднялся к себе, в гримуборную. Рубаху из грубой мешковины — хоть выжимай. Холстомер, чью судьбу только что оплакивал зал, постепенно обрел усталое, такое знакомое лицо давно уже не молодого актера Евгения Алексеевича Лебедева. А в моих ушах все еще стоял душераздирающий крик несчастной лошади, ее бессловесное одиотонное пение, которое всякий раз — как вопль...

— Где же, Евгений Алексеевич, подслушали вы эту страшную песню Холстомера, буквально берушую за горло?

— Этот вопль живет во мне давным-давно, с одной страшной ночи в деревне, где мы тогда жили. Я проснулся от воя бабы. Она выла, как воеет корова на бойне перед тем, как убьют. Прижавшись к окну, увидел: против нашего дома соседка вцепилась в рога своей коровенки, а военный стегает ее по рукам плеткой. Вовсю шла коллективизация... Больше шестидесяти лет минуло, а все слышу этот вопль.

— Ведь вы и сами, родившись в 1917-м, для Страны Советов в определенном смысле тоже были, так сказать, "пегим", — сын духовного лица...

— Конечно, это так... Поэтому, когда играю Холстомера, всякий раз невольно вспоминаю детство и словами моего героя говорю как бы про самого себя: "Когда я родился, я не знал, что такое значит пегим, я думал, что я лошадь... Я родился, должно быть, ночью..." Так говорит Холстомер. И я тоже родился ночью. И вместо соски сосал крест. И первые слова, которым меня научили, были тоже связаны с крестом, потому что так уж жила наша семья в глухом приволжском городке Балаково, где отец служил в церкви Иоанна Богослова. Я там по воскресеньям причащался, мне это очень нравилось: ах, если бы каждый день проглатывать горько-сладкую ложечку красного вина, запивать подкрашенной водичкой... Кроме того, тебя все поздравляют и дают пять копеек, на которые у старушки Неклюдовой, хозяйки кондитерской, можно купить такие пирожные... И еще: в церкви не обижали. А за ее стенами мне доставалось за то, что отец — поп! Особенно в школе. Только и слышишь бывало: "Эй ты, поп, попенюк, кутейник!" Учиться нам, кутейникам, позволялось лишь до четвертого класса, и с каждым годом издевательства сверстников становились все мучительнее, все изощреннее. Моего младшего братишку Толю однажды палками избили так, что навсегда стал эпилептиком. Причем учительница этот бандитизм не останавливала, наоборот — подогревала. Бывало вызов к доске: "Ну что, "лишенец", опять ходил в свою церковь? Опять слушал этот обман, этот опиум для народа? Ступай к своему отцу и скажи, что он длинноволосый дурак!"

— Не отсюда ли ваша знаменитая Баба-Яга, которую вы показывали и в театре, и на эстраде?

— Именно оттуда... что такое "лишенец", я еще не понимал. Что такое "опиум", не знал. Но ноги все равно становились ватными.

В 1929-м родители отправили меня в Самару, чтобы начинал самостоятельную жизнь...

— В двенадцать лет? Так рано?!

Евгений ЛЕБЕДЕВ

Лит. газ. — 1994, — 16 февр. — с. 8. "Я тоже был пегим..."



— Куда же?

— К родителям — куда еще было деться? Приехал, а там, в Нижнем Поволжье, страшный голод — 1933 год. Вымирали целые села. Мертвые прямо на улицах лежали. И мой отец, священник, сам опухший от голода, их хоронил, выполнял свой долг... В соседнем городке был агропочвенный техникум, и меня приняли сразу на второй курс, но отец сказал: "Это так близко, поэтому все равно прознают про твоего родителя, про твоё происхождение. Уезжай-ка подальше, в Москву..."

— Вас там кто-нибудь ждал? Был хотя бы угол?

— На первый случай были родственники отца: пятеро в маленькой комнатухе. Переночевал у них один-единственный раз, под столом, и понял, что надо уходить. На улицу. Так и поступил. А на дворе осень, и занятия в театральных училищах уже идут полным ходом. Рискнул показаться Мейерхольду, но он мне очень вежливо посоветовал подрасти и прийти через годик-другой. К счастью, приняли в театральный техникум при Театре Красной Армии. Но жить все равно нигде.

— А общежитие?

— Не было его. Да я и не требовал. Ничего не требовал — ни жилья, ни продовольственной карточки. Я уже привык быть "пегим". Ночевал на вокзалах, в подездах, трамвайных будках. В столовой подбирал объедки. Зима, мороз, а на мне физкультурные тапочки, калоши, короткое полупальтишко, а вместо шарфа ватное полотенце. Приду в театр утром пораньше, сяду в кресло и сплю... Поступил в ЦЕТЕТИС (будущий ГИТИС), а его перестроили — и меня направили

в школу Камерного театра. Знаменитый Камерный, который возглавлял Александр Яковлевич Таиров, где играла Алиса Коонен, где шли такие "буржуйские" спектакли, как "Адриенна Лекуверр" и "Жирофле-Жирофля". Тут целовали дамам ручки не только на сцене, но и в жизни... В общем, заявился я туда — тощий, с прыщавым лицом, в штопанных брюках, в дырявых носках, поднялся лишь до второго этажа, а на четвертый, где помещалась школа, не решился: ну куда мне в этот дивный мир в таком виде... И ушел. Снова на улицу. В самом прямом смысле.

— Евгений Алексеевич, но вы же теряли профессию, к которой так стремились. Шаг отчаяния?

— Да. Я решил, что должен во что бы то ни стало встать на ноги, одеться — и только потом в Камерный. Скоро мне повезло, увидел объявление: "Кондитерской фабрике "Красный Октябрь" требуются грузчики, разносчики". Там, в шоколадном цехе, все хворобы постепенно пошли на убыль. Потом поехал в Харьков, на всесоюзный смотр художественной самодеятельности работников пищевой промышленности, и выступил так успешно, что Микоян вручил мне коверкотовый костюм. В тридцать шестом вернулся в школу Камерного. Встречу с Александром Яковлевичем Таировым запомнил на всю жизнь...

— Кажется, именно тогда, в 1936 году, Сталин обрушился на Таирова в связи с постановкой "Богатырей"?

— Хорошо помню жуткий погром, который после этой команды "сверху" устроили Таирову некоторые его же актеры. Помню улыбку Михаила Жарова, который, кстати говоря, в таировской "Оптимистической трагедии" сыграл, пожалуй, лучшую свою роль. Таиров не выдержал, повернулся к Коонен: "Алиса Георгиевна! Выйдем отсюда! Это не наш театр!" И они ушли. А во мне снова проснулся чуть притихший страх... В декабре 1936-го приняли Конституцию, и я решил наконец "открыться", сказать, что родители мои живы и кто они. И летом 1937-го открыто (впервые открыто!) к ним поехал. Провел там месяц, а когда вернулся, вслед пришла телеграмма: "Папа арестован". Потом арестовали маму. Их расстреляли в том же 1937-м, но узнал об этом много позже. Так я стал сыном "врагов народа".

— И долго вы еще потом ощущали на себе эту "пегость"?

— Долго. В 1949 году Товстоногов здесь, в "Ленком", ставил спектакль по пьесе Дадияни "Из искры...", мне поручил роль Сталина. В обкоме партии возмутились: "Как можно роль товарища Сталина доверить Лебедеву, который на сцене изображает ведьму и чьи родители знаете кто были?!" Товстоногов возражал: "Но ведь товарищ Сталин тоже в духовной семинарии учился". Еле отстоял. Правда, когда за эту роль я был удостоен звания

лауреата Сталинской премии первой степени, в обкоме несколько успокоились. Однако за границу не выпускали еще лет десять.

— Евгений Алексеевич, вот вы играли Сталина. А понимали тогда, что в вашей "пегости", в гибели отца, матери прежде всего повинны и Владимир Ильич, и Иосиф Виссарионович?

— Про Ленина тогда вообще таких мыслей не возникало. Что же касается Сталина... Понимаете, мы тогда были воспитаны на лозунгах, что вокруг "враги", "вредители"... Так что Сталина играл абсолютно искренне. Причем не слащаво играл, а жестко. Он сам мне это подсказал.

— То есть?

— Перед премьерой не спал три ночи. Пришел на генеральную репетицию пораньше, а голова раскалывается. Прилег на полчаса в гримуборной. И вижу: входит Сталин. Посмотрел я на него и говорю: "Не то. Мне надо помоложе". Он повернулся и исчез. Тут же появляется другой, помоложе. Приблизился к столу, а там, на листках, — текст моей роли. Посмотрел он в листки, что-то очень резко подчеркнул карандашом и выдохнул: "Н-н-эт! Так должно быть и так будет!" Я воскликнул: "Вот! Вот именно так и нужно!" Проснулся, рассказал про все Товстоногову, а он: "Никому больше об этом ни слова". Таким, жестким, его и играл.

— А как к вам относились последующие ленинградские правители?

— Мне-то доставалось от них не очень, а вот Товстоногову... Например, однажды поставил он по пьесе Зорина "Дион" блистательную "Римскую комедию", где основной темой были взаимоотношения поэта и власти. Я играл как раз древнего правителя Домициана. Спектакль нам запретили. Вскоре после этого лежу в самой престижной интерской больнице, "Свердловке", и вдруг приглашают в палату-люкс. Захожу. На широченной кровати — маленький человечек с прыщиком на носу (этот прыщик ему там как раз и лечили), секретарь по идеологии Богданов. "Здравствуйте, Евгений Алексеевич! Скажите, как вам это удается: смотрю на вашего Домициана, а вижу Сталина, Гитлера и Хрущева?" Я усмехнулся: "Наверное, потому, что у всех диктаторов к поэтам отношение одинаковое..." Работая над образом Артуро Уи, я досконально изучил "Майн кампф" и поразился: как же много там от Сталина! Помог мне Брехт высказать про свое, наболевшее, в частности, кое-что и про нашего "обкомовского карлика" Романова, вскоре шагнувшего аж в Политбюро.

— Евгений Алексеевич, этот Богданов "с прыщиком" был прав. Как вам удается, что ваши герои, порой, казалось бы, совсем из другой эпохи, говорят именно про нашу нынешнюю жизнь — и Бессеменов с его могучим порывом и ничтожной целью, и Серебряков с его претензиями и пустой болтовней, и Крутицкий с его воспитательным маразмом, очень напоминавший нам одного из генсеков?

— Наверное, этому научил меня Товстоногов. В той же "Истории лошади" у моего героя такие, например, слова: "Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими,

а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло..." Знаете, о чем думаю, когда произношу это? О нашем преступном вторжении в Прагу в 1968-м о нашей аванюре с Афганистаном; о Жиринском, который намерен привести русских солдат к Индийскому океану...

— А когда вы впервые встретились с Георгием Александровичем?

— В тридцать четвертом в ЦЕТЕТИСе, где я учился на актера, а он — на режиссера. Когда приехал в Тбилиси, он работал там в Театре имени Грибоедова. А я — в тюз (кстати, одно время, в войну, рабочим сцены у нас был совсем молоденький Булат Окуджава). Георгий Александрович хотел перетащить меня к себе, но по этическим соображениям воздержался. Зато в театральном институте вместе вели курс актерского мастерства. В сорок девятом приехал я в Москву, были предложения и из МХАТа, и из Малого. Выбирал. Но неожиданно возник Георгий Александрович, позвал в Ленинград, в "Ленком", куда его назначили главным, и я без раздумий променял известнейших режиссеров на "неизвестного" Товстоногова. И это был мой золотой выигрыш!

— А то, что вашей женой стала Наталья Александровна, его сестра, — разве не золотой выигрыш?

— Это просто счастье. Мы познакомились, когда Наталья была еще совсем девочкой. Всю свою жизнь посвятила она Гоге, мне, вырастила и нашего сына, и его Сандро и Нику.

— Трудно последние годы Большому драматическому без Георгия Александровича?

— Конечно, непросто. Мне кажется, что по уровню таланта второго такого режиссера в нашей стране вообще нет. Может, появится среди молодых? Дай-то Бог.

— Холстомера вы играете уже девятнадцать сезонов...

— И проехал с ним почти весь белый свет — от Японии до Аргентины. Однажды в Аргентине случилось невероятное. Обычно, играя лошадь, прежде чем сказать первую фразу, я вспоминаю отца, мать. Вспомнил и тогда, в Буэнос-Айресе. И вдруг вижу: в самом конце партера, на небольшом возвышении, в светлом овале, — две головы. Отец и мама смотрят на меня... У меня — комок в горле, на глазах слезы. Рассказываю им про свою мать, про свою "пегость", и они все понимают, зрители понимают тоже. Отец и мама улыбнулись: "Не беспокойся, сын, мы с тобой!" А потом медленно растаяли...

Есть в Балакове в местном музее стенд, посвященный "почетному гражданину города", Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, народному артисту СССР Евгению Алексеевичу Лебедеву. А вот про то, что когда-то именно здесь "почетного гражданина" впервые объявили "пегим", ни слова. Жаль. Может, кто-нибудь и задумался бы.

Беседу вел
Лев СИДОРОВСКИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ